

Дома

Приходили от Григорьевых за какой-то книгой, но я сказала, что вас нет дома. Почтальон принес газеты и два письма. Кстати, Евгений Петрович, я просила бы вас обратить ваше внимание на Сережу. Сегодня и третьего дня я заметила, что он курит. Когда я стала его усовещивать, то он, по обыкновению, заткнул уши и громко запел, чтобы заглушить мой голос. Евгений Петрович Быковский, прокурор окружного суда, только что вернувшийся из заседания и снимавший у себя в кабинете перчатки, поглядел на докладывавшую ему гувернантку и засмеялся.

Сережа курит... пожал он плечами. Воображаю себе этого карапуза с папиросой! Да ему сколько лет?

Семь лет. Вам кажется это несерьезным, но в его годы курение составляет вредную и дурную привычку, а дурные привычки следует искоренять в самом начале.

Совершенно верно. А где он берет табак?

У вас в столе.

Да? В таком случае пришлите его ко мне.

По уходе гувернантки Быковский сел в кресло перед письменным столом, закрыл глаза и стал думать. Он рисовал в воображении своего Сережу почему-то с громадной, аршинной папироской, в облаках табачного дыма, и эта карикатура заставляла его улыбаться; в то же время серьезное, озабоченное лицо гувернантки вызвало в нем воспоминания о давно прошедшем, наполовину забытом времени, когда курение в школе и в детской внушало педагогам и родителям странный, не совсем понятный ужас. То был именно ужас. Ребят безжалостно пороли, исключали из гимназии, коверкали им жизни, хотя ни один из педагогов и отцов не знал, в чем именно заключается вред и преступность курения. Даже очень умные люди не затруднялись воевать с пороком, которого не понимали. Евгений Петрович вспомнил своего директора гимназии, очень образованного и добродушного старика, который так пугался, когда заставлял гимназиста с папироской, что бледнел, немедленно собирал экстренный педагогический совет и приговаривал виновного к исключению. Уж таков, вероятно, закон общежития: чем непонятнее зло, тем ожесточеннее и грубее борются с ним. Вспомнил прокурор двух-трех исключенных, их последующую жизнь и не мог не подумать о том, что наказание очень часто приносит гораздо больше зла, чем само преступление. Живой организм обладает способностью быстро приспособляться, привыкать и приноживаться к какой угодно атмосфере,

иначе человек должен был бы каждую минуту чувствовать, какую неразумную подкладку нередко имеет его разумная деятельность и как еще мало осмысленной правды и уверенности даже в таких ответственных, страшных по результатам деятельности, как педагогическая, юридическая, литературная...

И подобные мысли, легкие и расплывчатые, какие приходят только в утомленный, отдыхающий мозг, стали бродить в голове Евгения Петровича; являются они неизвестно откуда и зачем, недолго остаются в голове и, кажется, ползают по поверхности мозга, не заходя далеко вглубь. Для людей, обязанных по целым часам и даже дням думать казенно, в одном направлении, такие вольные, домашние мысли составляют своего рода комфорт, приятное удобство.

Был девятый час вечера. Наверху, за потолком, во втором этаже кто-то ходил из угла в угол, а еще выше, на третьем этаже, четыре руки играли гаммы. Шаганье человека, который, судя по нервной походке, о чем-то мучительно думал или же страдал зубною болью, и монотонные гаммы придавали тишине вечера что-то дремотное, располагающее к ленивым думам. Через две комнаты в детской разговаривали гувернантка и Сережа.

Па-па приехал! запел мальчик. Папа при-е-хал! Па! па! па!

Votre pre vous appelle, allez vite!¹ крикнула гувернантка, пискнув, как испуганная птица. Вам говорят!

Что же я ему, однако, скажу? подумал Евгений Петрович.

Но прежде чем он успел надумать что-либо, в кабинет уже входил его сын Сережа, мальчик семи лет. Это был человек, в котором только по одежде и можно было угадать его пол: тщедушный, белолицый, хрупкий... Он был вял телом, как парниковый овощ, и всё у него казалось необыкновенно нежным и мягким: движения, кудрявые волосы, взгляд, бархатная куртка.

Здравствуй, папа! сказал он мягким голосом, полезая к отцу на колени и быстро целуя его в шею. Ты меня звал?

Позвольте, позвольте, Сергей Евгеньич, ответил прокурор, отстраняя его от себя. Прежде чем целоваться, нам нужно поговорить, и поговорить серьезно... Я на тебя сердит и больше тебя не люблю. Так и знай, братец: я тебя не люблю, и ты мне не сын... Да.

Сережа пристально поглядел на отца, потом перевел взгляд на стол и пожал плечами.

Что же я тебе сделал? спросил он в недоумении, моргая глазами. Я сегодня у тебя в кабинете ни разу не был и ничего не трогал.

Сейчас Наталья Семеновна жаловалась мне, что ты куришь... Это правда? Ты куришь?

Да, я раз курил... Это верно!..

Вот видишь, ты еще и лжешь вдобавок, сказал прокурор, хмурясь и тем маскируя свою улыбку. Наталья Семеновна два раза видела, как ты курил. Значит, ты уличен в трех нехороших поступках: куришь, берешь из стола чужой табак и лжешь. Три вины!

Ах, да-а! вспомнил Сережа, и глаза его улыбнулись. Это верно, верно! Я два раза курил: сегодня и прежде.

Вот видишь, значит не раз, а два раза... Я очень, очень тобой недоволен!

Прежде ты был хорошим мальчиком, но теперь, я вижу, испортился и стал плохим.

Евгений Петрович поправил на Сереже воротничок и подумал:

Что же еще сказать ему?

Да, нехорошо, продолжал он. Я от тебя не ожидал этого. Во-первых, ты не имеешь права брать табак, который тебе не принадлежит. Каждый человек имеет право пользоваться только своим собственным добром, ежели же он берет чужое, то... он нехороший человек! (Не то я ему говорю! подумал Евгений Петрович.) Например, у Натальи Семеновны есть сундук с платьями. Это ее сундук, и мы, то есть ни я, ни ты, не смеем трогать его, так как он не наш. Ведь правда? У тебя есть лошадки и картинки... Ведь я их не беру?

Может быть, я и хотел бы их взять, но... ведь они не мои, а твои!

Возьми, если хочешь! сказал Сережа, подняв брови. Ты, пожалуйста, папа, не стесняйся, бери! Эта желтенькая собачка, что у тебя на столе, моя, но ведь я ничего... Пусть себе стоит!

Ты меня не понимаешь, сказал Быковский. Собачку ты мне подарил, она теперь моя, и я могу делать с ней всё, что хочу; но ведь табаку я не дарил тебе! Табак мой! (Не так я ему объясняю! подумал прокурор. Не то! Совсем не то!) Если мне хочется курить чужой табак, то я, прежде всего, должен попросить позволения...

Лениво цепляя фразу к фразе и подделываясь под детский язык, Быковский стал объяснять сыну, что значит собственность. Сережа глядел ему в грудь и внимательно слушал (он любил по вечерам беседовать с отцом), потом облокотился о край стола и начал щурить свои близорукие глаза на бумаги и чернильницу. Взгляд его поблуждал по столу и остановился на флаконе с гуммиарабиком.

Папа, из чего делается клей? вдруг спросил он, поднося флакон к глазам.

Быковский взял из его рук флакон, поставил на место и продолжал:

Во-вторых, ты куришь... Это очень нехорошо! Если я курю, то из этого еще не следует, что курить можно. Я курю и знаю, что это неумно, браню и не люблю себя за это... (Хитрый я педагог! подумал прокурор.) Табак сильно вредит здоровью, и тот, кто курит, умирает раньше, чем следует. Особенно же вредно

курить таким маленьким, как ты. У тебя грудь слабая, ты еще не окреп, а у слабых людей табачный дым производит чахотку и другие болезни. Вот дядя Игнатий умер от чахотки. Если бы он не курил, то, быть может, жил бы до сегодня.

Сережа задумчиво поглядел на лампу, потрогал пальцем абажур и вздохнул. Дядя Игнатий хорошо играл на скрипке! сказал он. Его скрипка теперь у Григорьевых!

Сережа опять облокотился о край стола и задумался. На бледном лице его застыло такое выражение, как будто он прислушивался или же следил за развитием собственных мыслей; печаль и что-то похожее на испуг показались в его больших, немигающих глазах. Вероятно, он думал теперь о смерти, которая так недавно взяла к себе его мать и дядю Игнатия. Смерть уносит на тот свет матерей и дядей, а их дети и скрипки остаются на земле. Покойники живут на небе где-то около звезд и глядят оттуда на землю. Выносят ли они разлуку?

Что я ему скажу? думал Евгений Петрович. Он меня не слушает. Очевидно, он не считает важными ни своих проступков, ни моих доводов. Как втолковать ему?

Прокурор поднялся и заходил по кабинету.

Прежде, в мое время, эти вопросы решались замечательно просто, размышлял он. Всякого мальчугу, уличенного в курении, секли. Малодушные и трусы, действительно, бросали курить, кто же похрабрее и умнее, тот после порки начинал табак носить в голенище, а курить в сарае. Когда его ловили в сарае и опять пороли, он уходил курить на реку... и так далее, до тех пор, пока малый не вырастал. Моя мать, чтобы я не курил, задаривала меня деньгами и конфетками. Теперь же эти средства представляются ничтожными и безнравственными. Становясь на почву логики, современный педагог старается, чтобы ребенок воспринимал добрые начала не из страха, не из желания отличиться или получить награду, а сознательно.

Пока он ходил и думал, Сережа взобрался с ногами на стул сбоку стола и начал рисовать. Чтобы он не пачкал деловых бумаг и не трогал чернил, на столе лежала пачка четвертух, нарезанных нарочно для него, и синий карандаш.

Сегодня кухарка шинковала капусту и обрезала себе палец, сказал он, рисуя домик и двигая бровями. Она так крикнула, что мы все перепугались и побежали на кухню. Такая глупая! Наталья Семеновна велит ей мочить палец в холодную воду, а она его сосет... И как она может грязный палец брать в рот! Папа, ведь это неприлично!

Дальше он рассказал, что во время обеда во двор заходил шарманщик с девочкой, которая пела и плясала под музыку.

У него свое течение мыслей! думал прокурор. У него в голове свой мирок, и он по-своему знает, что важно и не важно. Чтобы овладеть его вниманием и сознанием, недостаточно подтасовываться под его язык, но нужно также уметь и мыслить на его манер. Он отлично бы понял меня, если бы мне в самом деле было жаль табаку, если бы я обиделся, заплакал... Потому-то матери незаменимы при воспитании, что они умеют заодно с ребятами чувствовать, плакать, хохотать... Логикой же и моралью ничего не поделаешь. Ну, что я ему еще скажу? Что?

И Евгению Петровичу казалось странным и смешным, что он, опытный правовед, полжизни упражнявшийся во всякого рода пресечениях, предупреждениях и наказаниях, решительно терялся и не знал, что сказать мальчику.

Послушай, дай мне честное слово, что ты больше не будешь курить, сказал он. Че-естное слово! запел Сережа, сильно надавливая карандаш и нагибаясь к рисунку. Че-естное сло-во! Во! во!

А знает ли он, что значит честное слово? спросил себя Быковский. Нет, плохой я наставник! Если бы кто-нибудь из педагогов или из наших судейских заглянул сейчас ко мне в голову, то назвал бы меня тряпкой и, пожалуй, заподозрил бы в излишнем мудровании... Но ведь в школе и в суде все эти канальские вопросы решаются гораздо проще, чем дома; тут имеешь дело с людьми, которых без ума любишь, а любовь требовательна и осложняет вопрос. Если бы этот мальчишка был не сыном, а моим учеником или подсудимым, я не трусил бы так и мои мысли не разбегались бы!..

Евгений Петрович сел за стол и потянул к себе один из рисунков Сережи. На этом рисунке был изображен дом с кривой крышей и с дымом, который, как молния, зигзагами шел из труб до самого края четвертухи; возле дома стоял солдат с точками вместо глаз и со штыком, похожим на цифру 4.

Человек не может быть выше дома, сказал прокурор. Погляди: у тебя крыша приходится по плечо солдату.

Сережа полез на его колени и долго двигался, чтобы усесться поудобней.

Нет, папа! сказал он, посмотрев на свой рисунок. Если ты нарисуешь солдата маленьким, то у него не будет видно глаз.

Нужно ли было оспаривать его? Из ежедневных наблюдений над сыном прокурор убедился, что у детей, как у дикарей, свои художественные воззрения и требования своеобразные, недоступные пониманию взрослых. При внимательном наблюдении, взрослому Сережа мог показаться ненормальным. Он находил возможным и разумным рисовать людей выше домов, передавать карандашом, кроме предметов, и свои ощущения. Так, звуки оркестра он изображал в виде сферических, дымчатых пятен, свист в

виде спиральной нити... В его понятии звук тесно соприкасался с формой и цветом, так что, раскрашивая буквы, он всякий раз неизменно звук Л красил в желтый цвет, М в красный, А в черный и т.д.

Бросив рисунок, Сережа еще раз подвигался, принял удобную позу и занялся отцовской бородой. Сначала он старательно разгладил ее, потом раздвоил и стал зачесывать ее в виде бакенов.

Теперь ты похож на Ивана Степановича, бормотал он, а вот сейчас будешь похож... на нашего швейцара. Папа, зачем это швейцары стоят около дверей? Чтоб воров не пускать?

Прокурор чувствовал на лице его дыхание, то и дело касался щекой его волос, и на душе у него становилось тепло и мягко, так мягко, как будто не одни руки, а вся душа его лежала на бархате Сережиной куртки. Он заглядывал в большие, темные глаза мальчика, и ему казалось, что из широких зрачков глядели на него и мать, и жена, и всё, что он любил когда-либо.

Вот тут и пори его... думал он. Вот тут и изволь измышлять наказания! Нет, куда уж нам в воспитатели лезть. Прежде люди просты были, меньше думали, потому и вопросы решали храбро. А мы думаем слишком много, логика нас заела... Чем развитее человек, чем больше он размышляет и вдается в тонкости, тем он нерешительнее, мнительнее и тем с большею робостью приступает к делу. В самом деле, если поглубже вдуматься, сколько надо иметь храбрости и веры в себя, чтобы браться учить, судить, сочинять толстую книгу...

Пробило десять часов.

Ну, мальчик, спать пора, сказал прокурор. Прощайся и иди.

Нет, папа, поморщился Сережа, я еще посижу. Расскажи мне что-нибудь! Расскажи сказку.

Изволь, только после сказки сейчас же спать.

В свободные вечера Евгений Петрович имел обыкновение рассказывать Сереже сказки. Как и большинство деловых людей, он не знал наизусть ни одного стихотворения и не помнил ни одной сказки, так что всякий раз ему приходилось импровизировать. Обыкновенно он начинал с шаблона В некотором царстве, в некотором государстве, далее громоздил всякий невинный вздор и, рассказывая начало, совсем не знал, каковы будут середина и конец. Картины, лица и положения брались наудачу, экспромтом, а фабула и мораль вытекали как-то сами собой, помимо воли рассказчика. Сережа очень любил такие импровизации, и прокурор замечал, что чем скромнее и незатейливее выходила фабула, тем сильнее она действовала на мальчика.

Слушай, начал он, поднимая глаза к потолку. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был себе старый, престарелый царь с длинной

седой бородой и... и с такими усищами. Ну-с, жил он в стеклянном дворце, который сверкал и сиял на солнце, как большой кусок чистого льда. Дворец же, братец ты мой, стоял в громадном саду, где, знаешь, росли апельсины... бергамоты, черешни... цвели тюльпаны, розы, ландыши, пели разноцветные птицы... Да... На деревьях висели стеклянные колокольчики, которые, когда дул ветер, звучали так нежно, что можно было заслушаться. Стекло дает более мягкий и нежный звук, чем металл... Ну-с, что же еще? В саду били фонтаны... Помнишь, ты видел на даче у тети Сони фонтан? Вот точно такие же фонтаны стояли в царском саду, но только в гораздо больших размерах, и струя воды достигала верхушки самого высокого тополя.

Евгений Петрович подумал и продолжал:

У старого царя был единственный сын и наследник царства мальчик, такой же маленький, как ты. Это был хороший мальчик. Он никогда не капризничал, рано ложился спать, ничего не трогал на столе и... и вообще был умница. Один только был у него недостаток он курил...

Сережа напряженно слушал и, не мигая, глядел отцу в глаза. Прокурор продолжал и думал: Что же дальше? Он долго, как говорится, размазывал да жевал и кончил так:

От курения царевич заболел чахоткой и умер, когда ему было 20 лет. Дряхлый и болезненный старик остался без всякой помощи. Некому было управлять государством и защищать дворец. Пришли неприятели, убили старика, разрушили дворец, и уж в саду теперь нет ни черешен, ни птиц, ни колокольчиков... Так-то, братец...

Такой конец самому Евгению Петровичу казался смешным и наивным, но на Сережу вся сказка произвела сильное впечатление. Опять его глаза подернулись печалью и чем-то похожим на испуг; минуту он глядел задумчиво на темное окно, вздрогнул и сказал упавшим голосом:

Не буду я больше курить...

Когда он простился и ушел спать, его отец тихо ходил из угла в угол и улыбался.

Скажут, что тут подействовала красота, художественная форма, размышлял он, пусть так, но это не утешительно. Все-таки это не настоящее средство... Почему мораль и истина должны подноситься не в сыром виде, а с примесями, непременно в обсахаренном и позолоченном виде, как пилюли? Это ненормально... Фальсификация, обман... фокусы...

Вспомнил он присяжных заседателей, которым непременно нужно говорить речь, публику, усваивающую историю только по былинам и историческим романам, себя самого, почерпавшего житейский смысл не из проповедей и законов, а из басен, романов, стихов...

Лекарство должно быть сладкое, истина красивая... И эту блажь напустил на

себя человек со времен Адама... Впрочем... быть может, всё это естественно и так и быть должно... Мало ли в природе целесообразных обманов, иллюзий... Он принялся работать, а ленивые, домашние мысли долго еще бродили в его голове. За потолком не слышались уже гаммы, но обитатель второго этажа всё еще шагал из угла в угол...

Ваш отец вас зовет, идите скорее! (франц.)